

«ЯРЬ». СТИХОТВОРЕНИЯ СЕРГЕЯ ГОРОДЕЦКОГО

«Ярь» — это прекрасное старое слово войдет снова в русский язык вместе с этой книгой. Редко можно встретить более полное и более согласное слияние имени с содержанием.

Ярь — это все, что ярко: ярость гнева, зеленая краска — ярь-медянка, ярый хмель, ярь — всходы весеннего сева, ярь — зеленый цвет.

Но самое древнее и глубокое значение слова Ярь — это производительные силы жизни, и древний бог Ярила властвовал над всей стихией Яри.

Какое лучшее имя мог дать своей книге молодой фавн, написавший ее?

Что Сергей Городецкий молодой фавн, прибежавший из глубины скифских лесов, об этом я догадался еще раньше, чем он сам проговорился в своей книге:

Когда я фавном молодым
Носил дриад в пустые гнезда...¹

Это было ясно при первом взгляде на его худощавую и гибкую фигуру древнего юноши, на его широкую грудную кость, на его лесное лицо с пробивающимися усами и детски ясные, лукавые глаза. Волнистые и спутанные волосы падали теми характерными беспорядочными прядями, стиль которых хорошо передают античные изображения пленных варваров.

Огромный нос, скульптурный, смело очерченный и резко обсеченный на конце смелым движением резца сверху вниз, придавал его лицу нечто торжественно-птичье, делавшее его похожим на изображения египетского бога Тота, «трижды величайшего», изображавшегося с птичьей головой, которому принадлежали эпитеты «носатый», «достопочтенный Ибиси» и «павиан с блестящими волосами и приятной наружностью».

Та же птичья торжественность была и в поворотах его шеи, и в его мускулистых и узловатых пальцах, напоминавших и орлиные лапы, и руки врубелевского «Пана».

Но когда я видел его в глубине комнаты при вечернем освещении en face, то он напоминал мне поэтов двадцатых годов. Так я представлял себе молодого Мицкевича, с безусым лицом и чуть-чуть вьющимися бакенбардами около ушей.

А над его правым ухом таинственно приподымалась прядь густых волос, точно внимательное крыло, и во всей его фигуре и в голосе чувствовалась «Ярь непочатая — Богом зачатая».²

«Ярь» открывается странной и необычайной космогонией мира, в которой звездное так слито с чревным, астрономия с биологией, что разделить их невозможно.

Я бы сказал, что это слияние было только у одного художника — у покойного Эжена Карриера. Но разница громадна. Карриер в сумеречной комнате и в движущихся людях видел звездные вихри и образующиеся миры, которые никогда не соприкоснутся друг к другу, в поцелуях матери ребенка, которым он придавал такую страстную безнадежность, чувствовалась бесконечная грусть последнего прикосновения млечной туман-

ности к новообразовавшейся звезде, которая сейчас оторвется совсем и начнет свой одинокий бег в холодных пространствах вселенной.

Этой грусти совершенно нет у Городецкого. Он сам — молодая звезда, молодая вселенная, только что вышедшая из чьих-то чресл, хранящая воспоминание «чревных очей»; в нем еще жива «скорбь исхождения, путы-утробные»; он полон весь ярою радостью найденного земного лика.

Семя родимое,
Долго носимое —
Ликом пребудь! ³

Рожденный в мир, он произносит исповедание своей космической веры:

Я под солнцем беспечальным
Верю светам изначальным,
Изливаемым во тьму.
Сумрак — женское начало,
Сумрак — вечное зачало,
Верю свету и ему.
Свет от света оторвется,
В недра темные прольется,
И пробудится яйцо.
Хаос внуку улыбнется,
И вселенной сопричтется
Новозданное лицо.
Человек или планета
Проведет земные лета,
И опять спадет лицо,
И вселенной улыбнется
И над хаосом сомкнется
Возвращенное кольцо.⁴

Строфы, в которых веет древнею подлинностью и младенческим откровением.

Мне хочется поставить рядом с ними два стиха из «Книги Дзянов» (III, 2, 3).

«И возникает внезапный трепет и быстрым крылом своим задевает вселенную и семя скрытое во тьме. И тьма веет над спящими водами жизни.

Тьма излучает свет, и свет роняет одинокий луч в воды, в утробу матери. Луч пронизывает девственное Яйцо; дрожь охватывает вечное Яйцо, и оно источает смертное семя, которое сжимается в яйцо мира».

Я вполне убежден, что Сергей Городецкий никогда не читал «Книги Дзянов», так как это неминуемо сказалось бы в большей детальности и точности и лишило бы стихотворение этой подлинности первозданного мифа.

Но я думаю, что он знал о той Деве в «Калевале», которая «семь тысяч лет блуждала в пустынях неба. Лебедь опустился на лоно матери-воды, и

она приникла между крыл его и снесла семь яиц — шесть золотых и седьмое железное». ⁵

Мировая туманность и яйцо зарождений вполне тождественны для Городецкого. Солнечная вселенная для него чья-то утроба, в которой совершаются таинства Яри, таинства зачатий.

Глядя на млечный путь, он — вопрошает:

Этот круг немая млечность.
 Что за ним — уже не вечность,
 Не пространство . . . Что же? Что же?
 Не твое ли, Хаос, ложе?
 С кем лежишь ты неутомный,
 Светоотче, в дали темной? ⁶

Но вот зарождение совершилось; наш мир — смертное семя первозданного девственного Яйца — застыл.

На мертвом теле
 В коре чуть тлеющей земли
 Плоды багряные зардели
 И злаки тучные взошли.
 Зашевелились звери, гады,
 И человек завыл в лесу,
 Бросая алчущие взгляды
 На первозданную красу. ⁷

Солнце заблудилось в темнеющих пространствах мировых пустынь.
 Не кручинься, солнце:

За тобой на лугах зеленеющих
 Жизнь, живучая веснами синими. ⁸

В яром сердце сына земли рождается пламень богоборства, протест против Отца, который почил на седьмой день и оставил мир однообразной смене рождений и смерти:

Упало семя — будет плод.
 Закат сменен восходом.
 Родился сын — рожден народ.
 Миг спеет годом.

Сын богохульствует и проклиняет:

Пусть тьма уродством изойдет
 В просторы злые!
 Без звуков, светов и цветов
 Отцу да будет чадо:
 Горелых кубов и шаров
 Шальное стадо. ⁹

Но Адонай отвечает:

Лоном ночи успокоен,
Ты с утра ушел в дозор,
И младенчески спокоен
Ясновидящий твой взор. . .
. . . Все ли очи излучают
Ликованье бытия?
Все ли чуют, все ли чают,
Что в тебе светаю Я?¹⁰

Космический пролог «Яри» закончен, одинокая душа непримирима, но мир примирен и оправдан в душе поэта.

Развертывается многообразный и многоцветный мир явлений — буйная Ярь производительных сил природы: «от взора чревного земли до взгляда нежного томленья».¹¹

Каждый стих книги проникнут великой чувственностью, но не той прямой чувственностью городского человека, как, например, у Пшибышевского, который имел безвкусию написать: «В начале бе пол»,¹² а яровой чувственностью вечных рождений, которые еще помнят *путь утробные*.

Чувственность в деревьях («Липа, нежное дерево — липа. и липовый ствол обнаженный») и в древних языческих жертвоприношениях, в той поэме, где творят новый идол Ярилы. Две жрицы «десятой весны» приносятся в жертву. Старый Ведун, переживший две тысячи лун, привязывает их к липовому стволу. Один удар топора в тело, другой в липовый ствол. «И кровавится ствол, — принимая лицо. — Вот черта — это нос. — Вот дыра — это глаз. — В тело раз — В липу два. — Покраснела трава — Заалелся откос, — И у ног — В красных пятнах лежит Новый Бог».¹³

В другом стихотворении, посвященном Яриле, — моление жриц: «И красны их лица, и спутан их волос, но звонок их голос». Слова их переходят в шаманское бормотанье, дикое и носящее характер какой-то доисторической подлинности, как кремневые топоры, каменные ножи и иглы из рыбных костей.

«Ярилу, Ярилу люблю я. Ярила, Ярила, высокий Ярила — твоя я. Яри мя, Яри мя, очима сверкая».¹⁴

Так же подлинно и «Рожество Ярилы», который рождается у бабы беспалой, — «ей всякое гоже, с любым по любви, со всяким вдвоем».

«Весною зеленой — У ярочки белой — Ягненок роженный, — У горленки сизой — Горленок ядреный, — У пегой кобылы — Яр-тур жеребенок, — У бабы беспалой — Невиданный малый: — От верха до низа — Рудой, пожелтелый, — Не, не золоченый — Ярила!».¹⁵

Космогония продолжается. Родился мир — теперь рождаются жестокие человеческие боги. За богами идут люди. В «Девичьих песнях» Ярь непочатая — Богом зачатая и заложенная в человека, рвется наружу.

«Эх вы девки-однодневки, чем невелились? Тем ли пятнышком родимым, что на спинушке? Тем ли крестиком любимым — из осинушки?».

Так поется у Городецкого в хлыстовской «Росянке», которая заканчивается стихами:

Ни зги в избежке серой,
Пришел, пришел поилец.
Темно от сизых крылец. . .
Ой, дружки, в Бога веруй!¹⁶

Леса и поля кишат оборотнями, нежитью — предками человека. Там «жизней истраченных сход вечевой».

Там лешачиха сосет клен — «горечь понравилась, горькую пьет». «Пялится оком реснитчатым пращур в березовый ствол». «Штопать рогожи зеленые Щур на осину залез». «Прадед над елкой корячится». «Дед зеленя сторожит»,¹⁷ старый филин гложет ветку — он был когда-то человеком, но убежал в лесную чащу:

Рыскал, двигал чернолесьем,
Заливался лаем песьим. . .
Серп серебряный повесил,
Звезды числил, мерил, весил. . .
И накрылся серой кожей,
Чтоб возлечь на птичье ложе.¹⁸

В непосредственной связи с этими «предками», которые «в жизнь озираются, в нежить зовут»,¹⁹ находится цикл «Чертяка», полный такого свежего и искреннего юмора, что невольно вспоминается Гоголь-юноша. Недаром лицо Городецкого при некоторых поворотах, когда пряди волос падают на уши, так напоминает пронизательный профиль Гоголя. «Чертяка» носит характер такой неподдельности и жизненности, что с трудом удерживаешься от того, чтобы не спросить автора, не автобиография ли это. Античный фавн естественно становится русским чертякой по тому закону, который гласит, что боги наших предков становятся для нас нечистой силой.

Детство Чертяки было самое безнадежное — он был на побегушках в аду — «надо мной смеялся всякий, дергал хвост и ухо вил. Огневик лизал уста мне, Земляник душил на камне, Водяник в реке томил, ведьмы хилые ласкали, обнимали, целовали, угощали беленой». . . «На посылках пожелтый, я, от службы угорелый, угомона не знавал. Сколько ладану, иконок из пустых святых сторонок для других наворовал».²⁰

Когда Чертяка подрос, у него начинаются романы — он обольщает поповну: «Я сманил ее черникой, костяникой, голубикой за лесок на бугрок». . .

Полюбила, заалелась,
Вся хвосточком обвертелась,
Завалилась на луга.
Ненаглядный мой, приятный,
Очень миленький, занятный,
Где ты выпачкал рога?

Между тем у попа в дому тревога. «Я ему трезвоню в ухо: — осрамила потаскуха, дочка глупой не жалей. Прогони жену за двери, так блудят шальные звери — ты ведь Божий иерей». И Чертяка в садическом упоении мечтает:

Вот уж завтра под осиной
Буду в радости осиной
Целовать ее рубцы.²¹

Другая картина: — у Чертяки под корягой на болоте сидит мать с больным человечьим ребенком и просит Чертяку отпустить ее, а сама языком зализывает ранку ребенка.

Дальше влюбленный Чертяка сидит перед мельницей. Мельник выдал дочь замуж.

Сырость крадется по шерсти измятой,
Хвост онемел, как чужой.
В мокрой коряге под хатой проклятой
Вянет чертяка лесной.²²

Но у Чертяки неисчерпаемая шаловливость и юмор. Он идет на богомолье к самому большому Черту — Адовику «поклониться, приложиться, у копытца помолиться, утолить печаль-тоску»²³ и по дороге у прохожей богомолки выпрашивает на память крестик и, придя к Адовику, к общему скандалу и переполоху вытаскивает этот «колкий» крестик.

Ярь, пронизавшая девственное яйцо мира, Ярь, процветшая растеньями и зверьми «в коре чуть тлеющей земли», Ярь, родившая жестоких богов, требующих крови, Ярь, пробившаяся в бессознательном трепете любви, Ярь, затаившаяся в лесных оборотнях, Ярь, вспыхнувшая веселым юмором в сердце игривого и безжалостного Чертяки, наконец доходит до города, до городских улиц и ползет и цветет едкою болезненной плесенью.

Отдел «Улица» мог быть написан только «Чертякою», маленьким стихийным духом, четко видящим поверхность действительности и в то же время чувствующим тайные течения яровых сил, скрытых под ней, знающим про каждого человека, «как это сделано». Тут целый ряд совершенно отрывочных, иногда до ужаса четких и острых картинок, слабо освещенных далекими лучами космического пролога «Яри».

Поглядывал, высматривал и щурился глазком:
Позвольте познакомиться, я, кажется, знаком.
Как под руку с молоденькой приятно погулять!
Теперь столоначальника желал бы повстречать.
Квартира холостецкая — живу невдалеке,
Не будет ли браслеточка вам эта по руке?²⁴

По улице проходят, исчезают десятки быстрых фигур, оставляющих на ретине зрачка четкий след, который горит еще несколько мгновений.

Кивая веками, встает,
Лицо, распухшее от пьянства,
И все еще не сытый рот.²⁵

Девичий голос говорит:

На кладбище гуляли вдвоем.
Как смешно завились у желанного
Рыжеватые кудри кругом.²⁶

Идет другая:

Продалась кому хотела,
И вернулась. На щеках
Пудра пятнами белела,
Волос липнул на висках.²⁷

У кого-то умер муж. Она подошла к окну подвала, забрызганному весеннею грязью: «Подышать весной немножко, поглядеть на свет в окошко: ноги и дома. И по лужам разливаясь, задыхается, срываясь, алая кайма».²⁸

На «Смоленское» в конке едут старички и старушки поминать своих покойников, «взирая на столицу сквозь стекла и слезу»:

Краснеют густо щечки,
Беззубый рот дрожит,
На голые височки
Седая прядь бежит.²⁹

И вот, в первый раз во всей книге, здесь — в городе — приходит Смерть: «Поднявши покрывало — Лицо мне показала. — Ужасен был изгиб — Одной брови над глазом. — Зрачок горел алмазом — И пук волос прилип — К сырому лбу. — В гробу — Кто лето пролежал, — Тот волосы так носит».³⁰

«Ярь» заканчивается «Исходом» — исходом из городов, из человеческих пут, из индивидуальной замкнутости, призывом «расколдовать мироздание», «потревожить древний хаос»:

В хороводы, в хороводы,
О соборуйтесь, народы,
Звезды, звери, горы, воды!³¹

Книга кончена. Эта книга действительно Ярь русской поэзии, совсем новые и буйные силы, которые вырвались из самой глубины древнего творческого сознания; корни этих молодых побегов ютятся в самых недрах народного духа, и русская поэзия с полным правом может сказать молодому поэту:

Все ли чуют, все ли чают,
Что в тебе светаю Я?

«АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ» КУЗМИНА

*«Весы», июль 1906 г.**

Как песня матери
Над колыбелью ребенка.
Как горное эхо,
Утром на пастуший рожок отозвавшееся,
Как далекий прибор
Родного, давно не виденного моря,
Звучит мне имя твое
Трижды блаженное:
Александрия!¹

(«Александрийские песни»)

Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».

Без сомнения, он молод и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файумских портретах,² которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее.

Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина.

У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст.³

Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда.

Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих

* Готовится отдельное издание — слова и музыка М. А. Кузмина.